



*Посвящается мужчине  
из Каунсил-Блафс*



## ГЛАВА I



Горячий пустынный ветер Санта-Ана иссушал и выбеливал остатки весенней травы. В такой жаре блаженствовали только нежные ядовитые бутоны и заостренная зелень олеандров. Душными сухими ночами мы — я и мама — не могли спать. Однажды я проснулась в полночь и обнаружила, что ее кровать пуста. Поднялась на крышу и сразу же заметила светлые, точно белое пламя, волосы в свете неполной луны.

— Время олеандров, — промолвила мама. — Любовники, убивая друг друга, спишут все на этот ветер.

Она подняла крупную ладонь, позволяя жаркому дыханию пустыни лизать расставленные пальцы. Когда дул Санта-Ана, мама становилась сама не своя. Мне только-только исполнилось двенадцать, и я за нее боялась. Мечтала, чтобы все стало как прежде, чтобы ветер стих и с нами вновь был Барри.

— Поспи немножко, — попросила я.

— Я никогда не сплю.

Мы сидели рядом и смотрели на город. Он гудел и поблескивал, точно чип в глубине диковинного компьютера, храня секреты, как игрок в покер. Ветер распахнул мамино белое кимоно и обнажил низкую полную грудь.

Я положила голову ей на колени, вдохнула аромат фиалок.

— Мы Жезлы, — произнесла она. — Ищем красоту и гармонию, чувственность предпочитаем сентиментальности.

— Жезлы, — повторила я, показывая, что слушаю.

Наша масть Таро. Когда-то она раскладывала для меня карты, объясняла масти: Жезлы и Денарии, Кубки и Мечи. Теперь прекратила — не хотела знать будущее.

— Цвет волос достался нам от викингов, — продолжала она, — косматых дикарей, которые крошили в щепу своих идолов и вялили мясо на деревьях. Наши предки разграбили Рим. Бойся лишь немощной старости и смерти в постели. Не забывай, кто ты!

— Не забуду.

Внизу на улицах Голливуда выли сирены, пилой проезжаясь по нервам. В сезон Санта-Ана эвкалипты вспыхивали, словно гигантские свечи, огонь бежал по смолистому чапаррелю, гнал отощавших койотов и оленей с холмов вниз на Франклин-авеню.

Мама подняла лицо к обожженной луне, купаясь в ее зловещем свете.

— Луна сегодня похожа на глаз ворона.

— Нет, на лицо ребенка, — возразила я, не поднимая головы.

Она мягко погладила меня по волосам.

— Луна-предательница.

Еще весной такая напасть была немыслима, и все же она подстерегла нас, как противопехотная мина. Тогда мы даже имени Барри Колкера не знали.

Барри... В начале он казался маленьким, меньше запятой, пустяковее случайного кашля. Они познакомились на вечере поэзии, среди виноградных лоз в Венис. Мама, как всегда на таких чтениях, была в белом, ее волосы на фоне смугловатой кожи походили на только что выпавший снег. Она стояла под массивным инжиром, листья которого напоминали человеческие ладони. Я сидела за столом со стопками тоненьких книг от техасского издательства «Блю-Шу-пресс» и рисовала ладони дере-

ва и пчел, пьяно кружащих над забродившими на солнце паданцами. Я тоже захмелела — от глубокого, напоенного солнцем голоса, в котором улавливался намек на монотонные песни бабушки-шведки. Если бы вы слышали мою маму, вы бы знали силу этого завораживающего голоса.

После выступления вокруг нас столпились люди. Я складывала деньги в коробку из-под сигар, мама подписывала книги.

— Ах, эти писательские будни! — Она с иронией посмотрела на смятые пятерки и доллары в моих руках.

Мама любила чтения, так же как любила вечера с друзьями-литераторами, когда за бокалом или косячком они громили знаменитых поэтов. И одновременно ненавидела их, как ненавидела свою дурацкую работу в журнале «Современное кино», где клеила в номер заметки собратьев по перу, которые, по цене пятьдесят центов за слово, бесстыже изрыгали клише, избитые существительные и вялые глаголы (при том, что мама могла часами мучительно выбирать между «вновь» и «снова»...).

Она подписывала книги с привычной устремленной внутрь полуулыбкой, благодарила и словно бы усмехалась про себя. Я знала, кого она ждет. Я его уже видела — застенчивый блондин в майке без рукавов и ожерелье из шерстяных бус беспомощно и хмельно смотрел на нее с заднего ряда. С моим двенадцатилетним стажем в роли дочери Ингрид я вычислила бы их даже с закрытыми глазами.

Сквозь толпу пробился подписать книгу плотный мужчина с темным хвостом вьющихся волос.

— Барри Колкер. Замечательные стихи!

Она подписала и вернула книгу, даже не взглянув на него.

— Может, встретимся вечерком?

— У меня свидание. — Потянулась за следующей.

— А потом?

Мне понравилась его уверенность, хотя он был не в ее вкусе: полноватый брюнет в костюме от Армии Спасения.

Мама, разумеется, предпочитала застенчивого блондина, намного младше ее и тоже мечтающего стать поэтом. Он-то и проводил нас домой.

Я лежала на матрасе на затянутой сеткой веранде и ждала, когда он уйдет, наблюдая, как вечерняя синева тает, словно невысказанная надежда, и превращается в темный бархат. Мама с блондином ворковали в доме. В воздухе разливался аромат особых японских благовоний — дорогой, без намека на сладость, запах дерева и зеленого чая. В небе проступила россыпь звезд, однако в Лос-Анджелесе нет правильных созвездий, и я мысленно соединяла их по-новому: Паук, Волна, Гитара.

Когда он распрощался, я перешла в большую комнату. Мама в белом кимоно, поджав ноги, сидела с тетрадью на кровати и макала перо в пузырек с чернилами.

— Ни в коем случае не позволяй мужчине остаться на ночь. При первых лучах зари тускнеет любая магия ночи.

Магия ночи. Звучало очень красиво. Когда-нибудь у меня тоже будут возлюбленные, и после свидания я стану писать стихи. Я рассматривала бутоны белого олеандра, которые она утром поставила на кофейный столик, — три веточки, олицетворение небес, человека и земли — и думала о музыке голосов в темноте, мягком смехе и аромате благовоний. Коснулась цветов. Небеса. Человек. Дымка тайны. Казалось, я вот-вот в нее проникну...

Все лето я ходила с мамой на работу. Ей не пришло в голову пристроить меня в летний лагерь, а сама я не попросила. Учиться мне нравилось, но общение со сверстниками было мукой, я никак не вписывалась в их компанию. Они словно относились к иному биологиче-

скому виду, их заботы мне были так же чужды, как интересы догонов Мали. Седьмой класс выдался особенно болезненным, и я с нетерпением ждала, когда вновь смогу проводить время с мамой. Офис «Современного кино» — чернильные ручки, цветные карандаши, ватманы, прозрачные пленки, тангирная сетка, бордюрная лента и выброшенные фотографии, из которых я клеила коллажи, — стал моим раем. Мне нравились беседы взрослых. Они забывали о моем существовании и говорили удивительные вещи. Сегодня, например, авторы и заведующая отделом художественного оформления Марлин судачили о романе между владельцем журнала и редакторшей.

— Причуды помешательства на почве Санта-Аны, — заметила от монтажного стола мама. — Носатая анорексичка и хохлатый чихуахуа. Верх нелепости! Дети не будут знать, клевать им или лаять!

Замечание встретили смехом. Мама обычно говорила то, о чем остальные молчали.

Я сидела за свободным столом и рисовала жалюзи, которые резали солнечный свет, точно сыр. Хотелось, чтобы она сказала что-нибудь еще, но мама снова надела наушники, будто поставила точку в конце предложения. Она всегда работала под экзотическую музыку, представляя себя в благоухающем царстве огня и теней, а не в журнале про кино, где приходится наклеивать интервью с актерами за восемь долларов в час. Она сосредоточенно резала гранки острым ножом и отлепляла длинные липкие полоски.

— Сдираю кожу пресных писак, — пояснила она. — Потом прививаю их на страницу и создаю монстров бессмыслицы.

Авторы нервно рассмеялись.

Когда вошел Боб, владелец журнала, никто не обратил на него особого внимания. Я опустила голову и схва-



тила рейсшину, словно занимаюсь делом. До сих пор он ничего не говорил по поводу моего присутствия, но Марлин велела «летать низко, чтобы не запеленговали». Меня он не замечал, только маму. В тот день он остановился за ее спиной, читая через плечо макет. На самом деле просто хотел постоять рядом, коснуться ее волос, белых, словно талая ледниковая вода, и заглянуть в вырез платья на груди. Наклонился ближе — я заметила отвращение на ее лице — и, словно теряя равновесие, положил ладонь ей на бедро.

Она вздрогнула, якобы от неожиданности, и невзначай полоснула его голую руку острым, как скальпель, ножом.

Он ошеломленно смотрел на проступающие бисеринки крови.

— Ой, Боб, прости! Я тебя не заметила! Очень больно?

Взгляд васильковых глаз яснее ясного говорил, что она с той же легкостью перережет ему глотку.

— Да нет, пустяковая царапина.

Ниже короткого рукава футболки-поло алел глубокий порез сантиметров пять длиной.

— Не волнуйся, ты ведь нечаянно, — добавил он чуть громче, для окружающих, и удрал к себе в кабинет.

Обедали мы среди холмов, в рассеянной тени большого платана, чья светлая матовая кора на фоне поразительно голубого неба напоминала женское тело. Ели йогурт в картонных упаковках и слушали кассету со стихами Энн Секстон в исполнении автора. В своей пугающе ироничной манере она монотонно говорила о сумасшедшем доме и звоне колокольчиков.

Мама нажала паузу.

— Что там дальше?

Мне нравилось, когда она чему-нибудь меня учила. Мама слишком часто была недосыгаема, и когда вдруг она сосредоточивала на мне взгляд, я чувствовала себя

как цветок, который пробивается из-под снега под первыми лучами солнца.

Я без колебания продолжила стихотворение, словно песню. Сквозь листву нас согревал солнечный свет, а безумная Энн звонила в колокольчик, си-бемоль. Мама кивнула.

— Всегда заучивай стихи наизусть. Они станут частью твоего естества и, как фтор в воде, предохранят душу от тлетворного дыхания мира.

Я представила, как душа впитывает эти слова, точно кремниевую воду в Окаменевшем лесу, и превращает мою древесину в узорчатый агат. Мне нравилось, когда мама меня воспитывала. Я думала, что глине приятно прикосновение руки опытного гончара.

Во второй половине дня в отдел художественного оформления спустилась редакторша. Шлейф ее восточных духов потом еще долго висел в воздухе. Худая, с чрезмерно блестящими глазами и нервными движениями вспугнутой птицы, Кит нарочито широко улыбалась красными губами и резко перемещалась по комнате: глядела на макет, рассматривала страницы, останавливалась почитать у мамы через плечо и указывала, что изменить. Мама откинула волосы. Так вздрагивает кошка, прежде чем вцепиться когтями вам в руку.

— Ох уж эти твои волосы, — заметила Кит. — Не опасно? Клей все-таки...

Ее собственная иссиня-черная прическа была геометрической, растительность на затылке коротко сострижена.

Мама не ответила, но ее случайно оброненный нож вонзился в стол, точно копьё.

Когда Кит ушла, она повернулась к заведующей отделом:

— Она предпочла бы оболванить меня чуть ли не налысо и выкрасить под битум, как себя.

— Стойкий вампирский оттенок для ваших волос... — отозвалась Марлин.

Я не поднимала глаз — знала, что мы здесь из-за меня. Если бы не я, маме не пришлось бы работать. Она бы сейчас покачивалась на лазурных волнах на другом конце земного шара или танцевала фламенко при луне под гитару. Вина жгла меня, точно клеймо.

В тот вечер она отправилась в город одна. Я с час порисовала, съела бутерброд с арахисовым маслом и майонезом и спустилась к Майклу. Постучала в хлипкую дверь. Открылись три засова.

— Идет «Королева Кристина».

Мягкий спокойный мужчина примерно маминого возраста, но бледный и отечный из-за пьянства и постоянного сидения дома. Он улыбнулся и расчистил для меня место на диване посреди грязной одежды и выпусков «Вэрайети».

Его квартира очень отличалась от нашей. Она трещала по швам от мебели, сувениров, киношных плакатов, глянцевого журналов, газет, бутылок из-под вина и помидорной рассады на подоконниках, которая тянулась вверх к свету. Тут даже днем было сумрачно — окна выходили на север, — зато открывался потрясающий вид на Знак Голливуда. Собственно, поэтому Майкл сюда и переехал.

— Снова снег, — произнес он вместе с Гарбо, так же, как она, обращая лицо к небу. — Вечный снег! — И протянул мне миску с семечками подсолнуха.

Я щелкала семечки, скинув резиновые сланцы, в которых ходила с самого апреля, — не решалась сказать маме, что туфли снова малы. Не хотела напоминать, что из-за меня она оказалась в ловушке счетов за электричество и вечно маленькой детской обуви, из-за меня цепляется за стекло, как засыхающие помидоры. Красивая женщи-

на, волочащая увечную ногу. Я была этой ногой, веригами, кирпичами, зашитыми в подол платья.

— Что начитываешь?

Майкл был актером, однако снимали его мало, а от сериалов он отказывался и жил за счет записи книг на кассеты. Чтобы не иметь хлопот с профсоюзом, приходилось работать под псевдонимом Вольфрам Малевич. Каждое утро, спозаранок, мы слышали через стенку его голос. Еще с армейских времен он знал немецкий и русский. Служил в разведке, так называемой армейской интеллектуальной элите — оксиморон, как он говорил, — и ему всегда давали книги русских и немецких авторов.

— Короткие рассказы Чехова.

Майкл наклонился к кофейному столику и протянул книгу. Я полистала. Страницы пестрели комментариями, подчеркиванием и цветными наклейками.

— Мама ненавидит Чехова. Говорит, сразу ясно, зачем нужна была революция.

— Уж эта твоя мама! — улыбнулся Майкл. — Вообще тебе может понравиться. Чудесная меланхолия.

Мы повернулись к телевизору, чтобы не пропустить лучшую реплику из «Королевы Кристины», и повторили вместе с Гарбо: «Этот снег, точно белое море, выйдешь и потеряешься... и забудешь обо всем».

Я сравнивала мать с Королевой Кристиной, холодной и печальной, с глазами, устремленными к далекому горизонту. Именно там ей место, среди мехов, дворцов и редких сокровищ, каминов, где можно целиком поджарить северного оленя, и кораблей из шведского клена. Больше всего я боялась, что однажды она найдет туда дорогу и не вернется, потому ночами всегда дожидалась ее возвращения, как бы долго она ни задерживалась. Мне необходимо было услышать, как поворачивается ключ в замке, и вдохнуть аромат фиалковых духов. Я старалась не усугублять положение просьбами и не приземлять ее своими мысля-